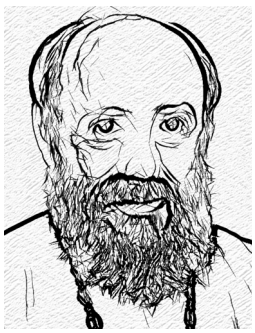


НИКОЛАЙ ГОЛОВАЧЁВ
Священник

НЕМНОГО О СЕБЕ

Я родился в Великом Устюге. Мой дом стоял недалеко от Михаило-Архангельского монастыря, в котором долгое время находилась тюрьма. Ну, тюрьма и тюрьма. Нам в школе говорили, что монастырь — это тоже тюрьма, куда народ шёл по обману. Вот я так и думал. А бабушка верующая у меня была. Сказал я ей как-то про тюрьму, а она мне в ответ: «Нет, Коля. Они шли в монастырь, чтобы получить ангельский образ». Запали мне в душу эти слова: человек в ангельском образе. И всякий раз, когда я смотрел на пять куполов монастырского собора и белые облака за ними, я думал о том, как хорошо, наверное, быть монахом и жить где-то на границе куполов и неба...

Но верующим я стал гораздо позже, а потом, почти против собственной воли, стал и священником. К тому времени я был давно женат, так что человека в ангельском образе из меня не получилось. Но Богу угоден всякий чин: и монашеский и мирской. «Сыне, даждь ми сердце», — если стараться исполнить эту просьбу Христа, то всё остальное — это дождь за окном, внешние обстоятельства, которые не смогут помешать нашему спасению.

Самая главная встреча в моей жизни — встреча с митрополитом Ленинградским и Ладожским Иоанном (Снычёвым). Я считаю его своим духовным отцом, хотя виделись мы с ним всего несколько раз. Он жил к крошечной комнате, очень скромно, как настоящий монах. Вот в этой комнате мы сидели и разговаривали — о молитве, о христианской жизни, о России. Митрополит Иоанн не был таким, каким его сейчас пытаются изображать. Он не был политиком или националистом. Он был аскет, молитвенник, тихий и скромный человек. Он сделал для меня очень многое.

Сейчас я служу на маленьком, почти деревенском приходе, и мне нравится здесь, хотя я всегда мечтал жить в большом городе. Некоторые вещи в нашей жизни устраиваются сами собой, иногда даже против нашей воли. А другие вещи не устраиваются, сколько ни старайся. Вот, например, два раза я поступал в Литературный институт, и оба раза провалился. Но я не огорчаюсь. Можно служить Богу и православным людям, не заканчивая семинарий. И можно заниматься творчеством, не заканчивая литературных институтов.

ЗА ЧЕРТОЙ

Ему некуда было идти, поэтому он просто шёл по тротуару и свистел.

Сегодня ночью его уволили из магазина — всё правильно, грузчик из него действительно получился некрепкий. Накануне вечером его окончательно исключили из института. А сегодня утром попросили освободить комнату, за которую, впрочем, теперь всё равно нечем было платить. А когда после всего этого он вышел из дома, направляясь в никуда, его ботинок лопнул по шву и наполнился грязной водой из единственной в округе лужи.

Это был последний аккорд в той симфонии неудач, что составляла звукоряд его жизни уже много дней. Слушать это дальше было нельзя. Решение возникло вместе с первым приливом воды в его башмаке и пересмотру не подлежало. Теперь, подумаете вы, он встретит доброго священника, который внесёт в его жизнь Смысл и Свет. Нет. Я не сделал для этого парня решительно ничего.

...Этим утром я вытащил за город своего старого друга, которого навещал в Москве, — как выяснилось, детский врач Михаил Юрьевич Коробков никогда не видел весеннего леса. Мы тряслись в полупустой электричке, когда в пыльном городе кто-то искал очередную аптеку, чтобы довести запас лекарств в кармане до смертельной дозы. Мы пробирались по мокрым кочкам и разглядывали наш лес в атласе автомобильных дорог, когда кто-то скользил глазами по расписанию пригородных поездов, выбирая направление последнего в своей жизни маршрута. Мы разжигали костёр из сырых веток, пекли картошку и смеялись о чём-то, когда он шёл напролом сквозь начинавший зеленеть кустарник, высматривая себе последнее убежище, как загнанный зверь.

Мы нашли его, когда выбирались из леса на дорогу, — вскоре после того, как он принял все свои таблетки. Было ли это докторское чутьё, не знаю, но его заметил Миша. А я так прошёл бы мимо, не увидев, как он сидит на поваленном дереве среди жидких кустов, обхватив голову руками, глядя сквозь нас в пространство. Но Миша сразу поднял с земли пустую медицинскую упаковку и, близоруко щурясь, поднес её к глазам.

— Коля, кружку! — он скомандовал это почти как: «Коля, скальпель!».

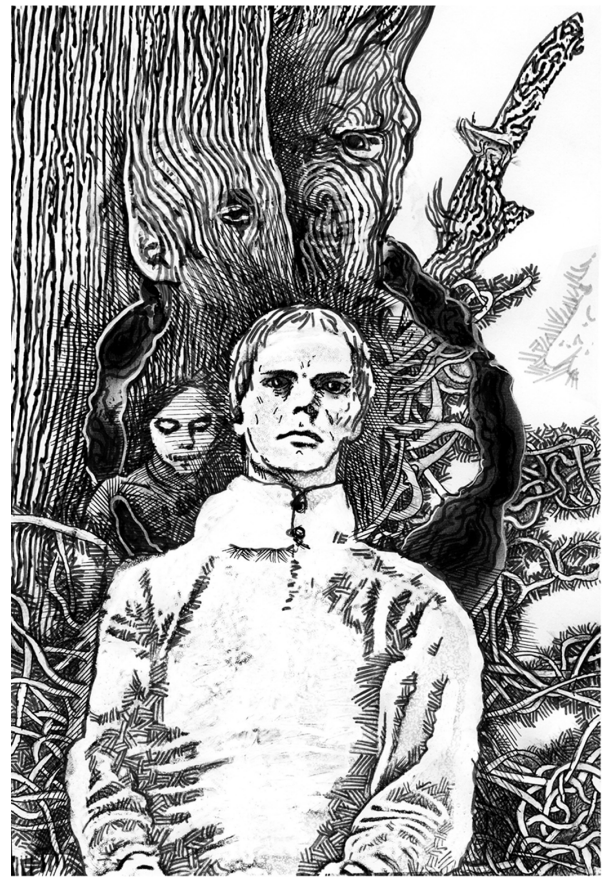
Путаясь в карманах рюкзака, я вытащил эмалированную кружку. Миша зачерпнул из-под корней тёмную, словно крепкий чай, воду и повернулся ко мне:

— Найди машину, быстро, — а потом добавил с расстановкой. — Всё — Будет — Хорошо...

И я побежал в сторону предполагаемого шоссе...

В ранних сумерках передо мной открылась узкая асфальтовая дорога. В оба направления она была совершенно пуста, и деревья подступали к ней

почти вплотную. Я увидел себя со стороны, бородатого и грязного, и с ужасом понял, что никто на мой призыв не остановится. Да и ездит ли здесь вообще кто-нибудь?



Ждать пришлось бесконечно долго, и когда впереди показался свет фар, я был настроен решительно и отчаянно. Машина быстро приближалась. Я подпустил её совсем близко и, раскинув руки, выскочил ей наперерез. Визг тормозов и яркий свет в лицо.

— Помогите! Нам надо доставить в больницу...

Прищурясь, я увидел за рулём тётушку неопределённого возраста и понял, что сейчас она даст задний ход, а я не смогу остановить машину.

Я вспомнил, как в детстве пытался прокручивать время в обратном направлении. Если происходило что-то ужасное — например, меня вызывали к доске в тот день, когда я думал, что меня не вызовут, — нужно было только зажмурить глаза и представить, что время идёт в обратную сторону, до самого вчерашнего вечера, когда я беру учебник и выучиваю из него нужный раздел. Впрочем, обычно это не помогало. Но сейчас я попытался прокрутить назад те события, которые ещё не успели произойти, чтобы машина, которая нам так сейчас нужна, не уехала.

Но тут из кустов показался Миша. Худенький очкастый доктор, он тащил парня, перекинув его через плечо. Я хотел помочь ему, но боялся отойти от машины. И тогда тётушка сама выскочила на дорогу и открыла ему дверь. Вместе мы запихали парня на заднее сиденье её «форда», Миша сел рядом, я плюхнулся вперёд, тётушка завела мотор, и машина понеслась.

Все были при деле. Миша не давал парню уснуть; парень мычал что-то и боролся то ли с жизнью, то ли со смертью; тётушка жала на педали и энергично крутила рулём. Я тоже был занят: молился как мог — за парня, за Мишу и за безымянную тётушку. А что мне ещё оставалась делать?..

Дальше была больница в каком-то посёлке, каталка с санитаром, исчезнувший вслед за парнем Миша и обрывки сна на деревянных стульях в приёмном покое.

Я вышел во двор, когда начало светать. Меня встретил холодный рассвет на стыке промышленной зоны и больничной ограды. Сквозь сетку я долго смотрел на столп цементной пыли, танцевавший над дорогой. Всё бессмысленно. Моисея вёл столп облачный, ночью — столп огненный. Нам остался столп цементной пыли, разворачивающийся в тонкий шлейф, похожий на пепел костра.

— Коля, мы возьмём его под расписку, — Миша бесшумно оказался рядом, он смотрел на меня поверх очков. — Поживёт пока у меня, а там посмотрим. Найди машину, через два часа мне надо быть в городе, у меня дежурство.

И он снова исчез за грязной дверью приёмного покоя. Машину — в такой глуши, в такую рань?.. Я растеряно оглянулся и увидел... да, я увидел, как к больнице медленно подъезжает вчерашний «Форд», а за рулём сидит всё та же тётушка!.. Да, так бывает. Она вернулась за нами, чтобы узнать, как этот парень, имени которого мы не знали.

И мы были через два часа в Москве. Когда мы проехали МКАД, я увидел над крышами дымное городское солнце и вдруг ощутил, что есть некоторая высшая гармония, которая сильнее, чем шум за окном и цементная пыль. Я услышал странный звук, как будто клокотала какая-то неведомая птица, и оглянулся. Парень спал на заднем сиденье, укрытый пледом, а Миша заводил большие карманные часы. Он успевал сегодня в свою больницу.

ВОТ ТАКОЙ ДЗЕН-КОФЕ

Мой поезд прибыл в столицу до рассвета, и это осеннее утро я встречал, бродя по московским улицам. Контора, куда я приехал, открывалась в десять утра. Пытаясь скоротать время и немного согреться, я зашёл в кафе со странным названием Zen-coffee, взял крошечную чашку нелюбимой чёрной кашицы и устроился возле окна. За соседними столиками — каждый за своим — сидело человек шесть посетителей, все были одеты весьма хорошо, кое-кто читал газеты. Играла тихая музыка.

На секунду я почувствовал себя в другой стране. Где моя газета?

Странно было видеть, что почти все посетители были в галстуках. В бытность свою мирянином я серьёзно верил, что галстуки — это изобретение мучителей человеческого рода. Эту удавку необходимо было носить на военной кафедре, и ещё в те времена я твёрдо решил никогда не брать её в руки добровольно. А вот этот несчастный клерк должен затягивать её каждый рабочий день, а то и на выходных.

Ну точно. Тот молодой служащий, которого я украдкой разглядывал, поднялся со своего места и направился прямо ко мне:

— Извините, вы священник? — он говорил мягко и несколько искусственно, хорошо поставленным голосом, как у диктора программы новостей. — У вас не занято? Мне хотелось бы спросить у вас кое-что как у духовного лица.

Я невразумительно закивал, пытаясь понять, серьёзно он говорит или придуривается. А он быстро перебрался за мой столик, захватив маленькую чашку кофе, и спросил:

— Вы знаете, что это за песня сейчас играет? Это «Битлз» — «Все эти одинокие люди, откуда они берутся».

Я попытался ответить, как мог, обстоятельно, что да, я где-то слышал эту мелодию, а мой собеседник продолжал всё тем же ровным тоном:

— Так вот, я хотел спросить не о том, откуда они берутся, все

эти одинокие люди. Интереснее другое: почему стекло, которое разделяет этих людей по ячейкам, не прошибить ни силой, ни хитростью. Почему можно делать всё что угодно: умирать от боли, решить стать хорошим, хотеть повеситься или делать вид, что всё путём, — МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ И КАЖДОЙ ЕГО СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ОТДЕЛЬНОСТИ ВСЁ ЭТО БУДЕТ ГЛУБОКО БЕЗРАЗЛИЧНО. С их стороны можно рассчитывать только на секундное любопытство, не больше. У вас глаза восточного мудреца. Я подумал: может, вы мне объясните, почему мир так устроен?

Я посмотрел в окно на пешеходную московскую улицу, а точнее — на редкие капли на стекле: дождь собирался, но так и не пошёл, и ветер выдувал из туч лишь единичные брызги. Помолившись про себя, я сказал:

— Умирать от боли или хотеть стать хорошим надо не ради людей. В любом общении нужно общаться не с человеком, а только с Богом, и только от него ждать ответ и помощь. Кстати, тогда и с людьми будет получше.

— А я готов, — неожиданно согласился мой собеседник. — Я думал над этим. Я могу остаток жизни прожить в пустыне, вот в этом самом городе или не в нём, и претерпеть всё, что надо претерпеть. Но пусть Бог мне даст маленький зарок. Пусть покажет мне, что я не одинок и что всё это для чего-то нужно. Разве я многого прошу? Вот смотрите, я сейчас выйду на улицу и встану перед этим окном. А вы наблюдайте: покажет или нет. Будете свидетелем, договорились? — он залпом допил кофе, поставил с лёгким стуком чашку на блюдце и встал из-за стола.

Сквозь стёкла дзен-кафе пешеходная московская улица, с её скамейками и фонарными столбами, напоминала сцену театра в нашем городке. Мой собеседник остановился в самом её центре и начал закуривать, отворачиваясь от ветра. Мимо него двигались прохожие, ветер протащил по земле два газетных перекати-поля. Я совершенно не знал, что делать.

Закурив, он сделал несколько затяжек, потом бросил сигарету на землю. Засунул руки в карманы, держа под мышкой свою чёрную папку, немного постоял. Плотность капель на стекле увеличилась — дождь, кажется, всё же решился пойти. Мой клерк поднял голову и посмотрел на небо. Потом открыл папку, что-то записал на весу, провёл ребром ладони по поверхности фонарного столба и прилепил к нему записку. Затем он снова сунул руки в карманы и зашагал прочь, скрывшись за правой границей стекла.

Я оставил свой портфель под столом и выскочил на улицу. Моего знакомца я не увидел — наверное, он свернул в один из переулков, — но я успел снять с фонаря маленький жёлтый листок до того, как меня опередил ветер: «Отпускаю сестру Ирму на свободу. Все мы монахини. Jean de Daumier-Smith».

Содержание этого письма меня озадачило. Я вернулся в кафе и спросил у двух молодых продавцов за стойкой, не смогут ли они передать моему клерку записку, если он вернётся в дзен-кафе. Я представился этим ребя-

там как священник и всячески постарался вызвать их доверие. Они охотно согласились выполнить мою просьбу и подтвердили, что мой собеседник бывает в этом кафе регулярно.

Я сел за свой столик, вырвал из блокнота листок и написал (в русской транскрипции, потому что побоялся сделать ошибку в греческом): «Монахос — монос то Моно». Я не написал перевод, но перевод был такой: «Монах — один перед Единым». По-гречески это звучит более складно. Ниже я приписал свой деревенский адрес, а потом свернул письмо и отдал его ребятам за стойкой.

...На улице ветер ударил меня в лицо и продул насквозь мои старые кости. Надо было одеваться теплее. Мой собеседник изрядно промёрзнет на таком ветру в одном костюме. Хотя, скорее всего, он приехал сюда на машине и работает где-нибудь неподалёку от кафе. Я начал вглядываться в лица прохожих. Чем ближе я подходил к метро, тем больше становилось вокруг людей, и похоже, что каждый третий был в костюме и галстуке. Лица москвичей отличаются от тех лиц, которые я привык видеть в своей деревеньке, — средний москвич неплохо будет смотреться на телеэкране...

И вот тут я понял одну совершенно ужасную вещь: если мы сейчас пересечёмся с моим новым знакомцем, то я просто не узнаю его в этой толпе.

Он этому не удивится, но простится ли это мне?..

КАК Я БЫЛ ОТШЕЛЬНИКОМ

Мой друг, директор школьного краеведческого музея, рассказывал мне, что в наших лесах жили отшельники. Как-то раз он показал мне старую карту, на которой в лесу действительно был обозначен храм. Сюда, как он рассказал мне, они собирались по воскресеньям, а потом снова уходили в лес и жили там на большом расстоянии друг от друга. Я тщательно перерисовал себе старую карту, но только в конце ноября смог отправиться наконец на поиски лесной церкви.

День стоял ясный и холодный. До леса я добрался на автобусе, а дальше пошёл по азимуту с помощью компаса и своей рукописной карты. Собственно говоря, ориентиров никаких не было, поэтому на самом деле я бродил по лесу наугад.

Стояло то время года, когда осень уже закончилась, а зима ещё не началась. Листвы на деревьях не осталось, поэтому в воздухе было необыкновенно тихо. Когда-то давно, став церковным человеком, я долго не мог примириться с ектеньей: «...да тихое и безмолвное житие поживем». Каждый раз, когда её произносил диакон, я думал, что «тихое и безмолвное житие» — это невыносимо скучно и что мне такого прошения не надо. Лишь значительно позже я понял, что тишина — это гораздо содержательнее, чем звуки. И вот сейчас я останавливался и слушал эту тишину, подняв голову и глядя на небо сквозь тонкие ветки с клочками листьев, оставшимися после осени.

Когда солнце подошло к краю леса, я понял, что окончательно заблудился. Мой компас меня не выручал, по моим расчётам, здесь давно должна была быть дорога. Начинало подмораживать, и я чувствовал себя всё более неуютно. Через час совсем стемнеет, и что я буду делать? Выбор был не слишком утешительный: ночевать в лесу или всю ночь пробираться через чащу в поисках дороги. Ведь как-то жили здесь отшельники. Свой запас продовольствия я съел ещё днём. А что если я и завтра не найду дороги? Я думал, только дети боятся тёмного леса, а взрослым дяденькам это не свойственно.

Я положил мешок на упавшее дерево, сел и постарался собраться с духом. Такое ощущение бесприютности не посещало меня уже очень давно. Помню, как-то раз в казарме на сборах я долго не мог уснуть. Вокруг храпели мои ближние, а я чувствовал то же самое, что и сейчас, — бессмысленность, холод и страх. В ту ночь первый раз в жизни я почувствовал необходимость молитвы. Я сидел с ногами на кровати и под переливистый храп сослуживцев отчаянно молился, чтобы Бог избавил меня от страха и боли и указал мне Свой путь. Примерно так же, но только в полной тишине, я молился и сейчас.

И тут я увидел её сквозь кусты. Я сидел прямо лицом к лесной церкви. Она была из красного кирпича (и как только его завезли в эту глушь?), очень маленькая, с небольшой колокольней и провалившимся куполом.

Заходить в церковь я не решился и начал осмотр с колокольни. Её нижняя часть представляла собой пространство с разбитыми окнами, лестницей без ступеней и люком в потолке. Цепляясь за скобы, оставшиеся после ступеней, я добрался до люка, подтянулся и заглянул на колокольный чердак. Поначалу я мог различить только розоватый прямоугольник неба в крошечном решетчатом окне. Потом глаза немного привыкли

к темноте, и я увидел кирпичные стены, небольшой стол в углу и подобие полатей. Это была комната, где вполне можно было заночевать.

Я закинул ногу за край люка, перевалился и вполз в моё новое убежище. Сняв со спины мешок, я достал толстую свечу, которую специально захватил на случай обследования церкви. Нашёл и спички. Зажёг свечу, приладил её на край полатей и сел рядом. Темнота начинала понемногу отступать. Вид у комнаты был довольно обитаемый. Здесь не было того ощущения разрухи, которое возникает в оставленных помещениях. На полатях я даже обнаружил большой кусок потёртого меха — что-то вроде старой бурки. На окне сохранилось стекло.

Я старался не переставать молиться. Закрыл люк тяжёлой крышкой, для теплоты постелил на нары свою полиэтиленовую накидку, завернулся в бурку и читал про себя молитву до тех пор, пока не заснул.

...Не знаю, сколько часов я проспал. Когда я открыл глаза, в окне было уже совсем светло. Я помахал руками и несколько раз присел, чтобы согреться. Потом вспомнил, что надо держать молитву, и начал повторять про себя нужные слова.

Спускаться оказалось гораздо труднее, чем забираться наверх. В итоге я почти выпрыгнул из люка, приземлившись на четвереньки. Поднял голову и увидел через дверь, которой не было, что лес изменился — между чёрных деревьев шёл мелкий снег. Белая крупа закатывалась в дверной проём и не таяла на земляном полу.

...Стена северного придела церкви частично обвалилась, но я не решился заходить через пролом и протиснулся через полуоткрытые главные двери. Все заброшенные храмы, которые я видел раньше, были исписаны скверными надписями. Здесь же ни одной надписи не было. Не было и икон — только ободранные стены, разбитые стёкла и полустёртые остатки росписи. Лучше всего сохранились евангелисты на парусах под куполом. Я долго смотрел на них, задрав голову, — апостол Иоанн, приложив руку к губам, напоминал о безмолвии, а сквозь пустые окна барабана падал снег.

Я встал возле правого клироса и по памяти прочёл третий и шестой час. Уходить из храма не хотелось. Я стоял и пытался продолжать молиться, но выдержал недолго. Снег из крупы вырос до мелких хлопьев, и я понял, что пора трогаться в сторону дома. Пока уходил, всё оглядывался на храм, хотя он и скрылся за деревьями и снегом, едва я отошёл от него на несколько десятков шагов.

Обратная дорога оказалась короткой и быстрой. Спустя примерно час я уже стоял в тёплом автобусе, сдавленный едущими куда-то пассажирами, и смотрел на ползущие за окном поля. Снег заносил их всё больше, хотя на пашнях комки земли с подветренной стороны оставались чёрными. Мысль о скором завтраке вызвала у меня радостное нетерпение и ощущение лёгкого, но принципиального предательства. Молиться не удавалось совсем.

Так и не получилось из меня отшельника... Но лесной храм и ночёвка в колокольне остались во мне маленькой занозой — размером с горушное зерно, не больше.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Я стоял у окна в коридоре вагона и ловил остывающий воздух, пахнувший железной дорогой и лесом. Небо ещё не потемнело до конца, и по его сине-фиолетовой полосе танцевала бесконечная лента верхушек деревьев. Возвращаться в купе не хотелось по причине, увы, совсем не христианской — мой попутчик отчётливо пах бомжом...

Он успел рассказать соседям по купе, что «провёл прошлую ночь в обезьяннике» и два дня не ел. На газете он нарезал большие круги розоватой вонючей колбасы и хлеб, а потом долго и шумно подкреплялся ими. Он опознал во мне священника, хотя я ехал «в штатском». Теперь он бодро храпел на верхней полке, а на нижних спали остальные обитатели нашего купе. Мне предстояло занять второе место наверху — напротив него, с подветренной стороны.

Я снова мысленно укорил себя за брезгливость.

Линия между небом и лесом стала почти неразличимой. Теперь я догадывался о придорожном ландшафте по шуму поезда, усиливавшемуся звуком эха или исчезавшему в ложбинах. Я всё ждал, что мелькнёт тусклым светом окон какое-нибудь жильё — полустанок или просто одиноко стоящий дом. В детстве я всегда думал, что в таких вот не нанесённых на карту домишках идёт жизнь, полная неведомого мне глубокого смысла. Свет и уют этих домов-странников оставался для меня тайной и маяком, надеждой, что всё будет хорошо.

Позже я понял, что за ночными окнами просто смотрят телевизор, ругаются или говорят о чём-то своём. Но сегодня мне снова хотелось верить в смысл этих бездомных окошек. Какой-то неведомый мне человек совершает суточный круг. Он поправляет фитиль мерцающей лампады, открывает часослов и, перекрестившись, тихо произносит: «Молитвами святых отец наших...».

Завтра на рассвете я буду дома, вечером служба на Преображение. А перед литургией следующим утром столы возле храма будут ломиться от свежих яблок и прочих фруктов, а женщины почти по-южному запоют открытыми голосами, на «а» и «и» тропарь Преображению...

Лес всё не кончался. Я мысленно ещё раз объяснил себе, что брезговать человеком нельзя, зашёл в купе и вскарабкался на свою полку. Тошнотворный запах, как я и надеялся, вскоре перестал ощущаться. Я просто привык к нему. Засыпая, я опять подумал плохое о своём попутчике: если он два дня не ел, то откуда у него деньги на билет и колбасу? Украл?

...Утром проводник разбудил меня, когда за окном уже мелькали знакомые места. Я сразу увидел, что исчезли часы, которые я положил в сетку над своей полкой. Эти часы когда-то подарил мне отец, и двадцать с лишним лет они служили мне верой и правдой.

Я взглянул на широкую спину бомжа, спавшего на соседней полке. Потряс его и сказал:

— Верните часы.

Он повернулся и через плечо, морщась спросонья, посмотрел на меня:

— Какие часы?

За окном замелькали улицы моего городка. Что мне делать? Позвать начальника поезда? Всё равно не успею. Может, проехать свою остановку и разобраться с ним? Он, всё так же обернувшись, смотрел на меня, и было в его взгляде что-то беспомощное. Поезд начал тормозить. Я с трудом сдержал нахлынувшую на меня волну раздражения, поднял свой портфель и направился к выходу.

Я ступил на платформу в смутных чувствах. Мой поезд почти сразу растаял в золотистой утренней дымке, и вокруг стало совершенно тихо. После душного купе утренний воздух был необычайно чист. И тут я нащупал в кармане рубахи «пропавшие» часы. Я сам переложил их туда под утро, когда был разбужен ярким светом встречного поезда.

Ох, и совестно стало мне, когда я подумал о сонном бомже! Но при этом я почувствовал и радость — не потому, что часы нашлись, а потому, что он всё-таки их не взял. Почему я всегда думаю о людях плохое?

...Солнце выглянуло из-за вершины холма. Гора Фавор ведь тоже была, наверное, не очень высокой. Как эта безымянная горка возле нашей деревни. Я помолился про себя, а потом тихо запел валаамский напев стихиры на Преображение: «...видяще на земли славы Господа».

Рисунки художника А. Белокурова

АЛЕКСЕЙ БЕЛОКУРОВ
Художник

Родился в 1969 году в Москве. Окончил среднюю общеобразовательную и 1-ю Московскую художественную школу, потом архитектурный факультет инженерно-строительного института. С 1987 года был в «Системе» (самоназвание неформального объединения, куда входили художники и музыканты, причислявшие себя к хиппи, панкам, металлистам, рокерам, битникам и прочим). С ней связан большой кусок жизни и много очень разных событий — радостных, странных, трагичных. Занимался исторической реконструкцией, писал сценарии, снимал кино, вёл эфир на радио, работал в школе, участвовал в этнографических и культурологических исследованиях. Сейчас увлёкся плейбек-театром — актёр «театра зрительских историй». В 1992 году был принят в члены IFA (Международная федерация художников при ЮНЕСКО). Было несколько выставок. Нынешний проект с иллюстрациями в РМ воспринимает как серьёзную возможность показать своё творчество.